

Горбунова Татьяна



Танай-Яга.
Нить жизни

Татьяна Горбунова
Танай-Яга. Нить жизни

«Автор»

2026

Горбунова Т.

Танай-Яга. Нить жизни / Т. Горбунова — «Автор», 2026

Автор рассказывает о славянской девочке и пути ее взросления. Татьяна Горбунова начинающий писатель. Телесный практик и психосоматолог, которая видит связь тела, души и сказок. Книга не является руководством к действию, это всего лишь фантазийно-сказочная интерпретация жизни, где есть связь тела, души, стихий и сказок.

© Горбунова Т., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ 1	5
ГЛАВА 1.	5
Глава 2	9
Глава 3	13
Глава 4	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Татьяна Горбунова

Танай-Яга. Нить жизни

ЧАСТЬ 1

ГЛАВА 1.

Береза.

Потом, через сорок лет, её назовут Танай — та, что видит невидимое. А в шесть лет Танча просто стояла под берёзой и слушала, как отец уходит из мира шагами, которые бились у неё в сердце.

Но начнем сначала....

В ночь, когда Танча была зачата, над избой полыхнуло северное сияние.

Мать потом любила рассказывать: «Вышла на двор — а небо горит, зелёным, синим, будто сам Инмар свадьбу играет. И так тепло стало, хоть мороз трещал. Я и поняла: неспроста это. Ты будешь особенная, Танча».

Отец смеялся и гладил мать по голове. Он вообще много смеялся — густо, раскатисто, так что половики на полу подпрыгивали. Был он высокий, светлобровый, с руками, которые умели и коня подковать, и берёсту сплести, и маленькую Танчу подкинуть под потолок так, что дух захватывало.

— Летать хочешь? — спрашивал он, ловя её у самого потолка.

— Хочу! — визжала Танча.

— Полетишь ещё. Всему своё время.

Она не понимала тогда, что он говорит не про игру.

Танча росла, как растёт лесной цветок: сама по себе, но в ладу со всем, что рядом. Мать звала её «тихоней с глазами-омутами». Танча могла подолгу сидеть на завалинке и смотреть, как муравьи тащат соломинку, как шмель зарывается в цветок, как берёза под окном шевелит листьями — будто дышит.

С берёзой у неё был особый разговор.

Танча не помнила, когда это началось. Просто однажды, в пять лет, она очень захотела, чтобы ветер утих — потому что берёза качалась слишком сильно и ей, наверное, больно. Она зажмурилась и представила, как ветер ложится на траву и засыпает.

И ветер улёгся.

Танча открыла глаза, удивилась, но быстро забыла. Она вообще забывала такие вещи — ну совпадение, ну повезло. Мать говорила: «С тобой, дочка, всегда солнышко в доме». Отец подмигивал: «Рыбка сама в сеть плывёт, когда Танча за удочку берётся».

Они не придавали значения. И Танча не придавала.

Всё изменилось, когда ей исполнилось шесть.

Утро того дня началось обычно. Отец ушёл в лес за дровами, мать хлопотала по хозяйству. Танча сидела под берёзой и плела венок из одуванчиков. Солнце светило, птицы пели, пахло нагретой травой.

А потом берёза замолчала.

Танча не сразу поняла, что случилось. Просто подняла голову и почувствовала: листья не шелестят. Совсем. Хотя ветерок бежал по двору, трепал подол материнской юбки, гонял пыль по дорожке.

Берёза замерла. Как будто перестала дышать.

И тогда внутри у Танчи что-то ёкнуло. Не больно, но глухо, тяжело, как падает в колодец камень — и долго летит, прежде чем плеснёт вода.

— Мам, — сказала она тихо. — А где папа?

— В лесу, дочка. К вечеру вернётся.

Но Танча уже знала: не вернётся.

Она не пошла в дом. Осталась под берёзой, прижалась щекой к белому стволу. Берёза была тёплой, нагретой солнцем, но внутри неё, в самой глубине, Танча чувствовала холод. Тот самый, что поднимался теперь в ней самой.

Она не плакала. Просто сидела и ждала. Чего — не знала.

А сердце билось. Билось. Билось. И в этом биении был какой-то другой ритм, не её. Чьи-то шаги. Медленные. Затихающие. Кто-то уходил по длинной-длинной дороге, и каждый шаг отдавался в груди у Танчи глухим стуком.

Тук. Тук. Тук.

Потом шаги стали тише.

Тук. Тук.

Ещё тише.

Тук.

Тишина.

Девчушка открыла глаза. Берёза стояла всё так же неподвижно. Солнце садилось за лес. Мать вышла на крыльцо, позвала ужинать.

— Танча! Где ты? Отец скоро придёт, накрывать надо.

Девочка встала, отряхнула платье и пошла в лес.

От его груди, от того места, где сердце, тянулась тонкая светящаяся нить. Она уходила вперёд, в глубину леса, и терялась среди деревьев.

Отец шел за ней, шел за светящимся клубком не оборачиваясь.

Танча не понимала, что происходит, но ей было невыносимо больно. Тук-тук, тук-тук...

Танча стояла не двигаясь. Потом медленно подошла к тому, что осталось под берёзой. Тело отца сидело всё так же прямо, лицо было спокойным. Танча дотронулась до его руки — холодная. Но на губах у него застыла улыбка, какой Танча никогда раньше не видела. Светлая, удивлённая, счастливая.

— Ты ушёл, — прошептала Танча. — За ниткой ушёл. А меня не взял.

Она постояла ещё немного. Потом повернулась и пошла домой, к матери. И всю дорогу слушала тишину в своей груди. Шаги больше не бились. Отец ушёл совсем.

Ночью ей приснился сон. Будто отец идёт по полю, высокий, светлый, а над ним — небо, зелёное и синее, как в ту ночь, когда её зачали. В руках у него — клубок, почти размотанный.

— Ты зачем ушёл? — спросила Танча во сне.

— Меня позвали, — ответил отец издалека. — Там, куда я иду, можно летать. Ты тоже прилетишь, когда время придёт.

— А нитка?

— Нитка — это дорога. У каждого своя. Ты свои нити вязать будешь, Танча. Помни это.

Она проснулась с мокрым от слез лицом. За окном светало. Берёза под окном тихонько шелестела — снова дышала, снова жила.

А в груди у Танчи, там, где ещё вчера бились шаги, теперь зияла пустота. Тихая, светлая, но пустота.

Так начался её путь.

Она не думала, зачем идёт. Ноги сами несли её по тропинке, которую отец протоптал. Ноги знали дорогу лучше, чем голова.

Она нашла его под большой берёзой, в самой чаще.

Среди деревьев, в ложбинке, где солнце почти не бывало, сидел отец. Живой. Отец сидел, прислонившись спиной к старой берёзе, и смотрел куда-то вдаль. Руки его лежали на коленях, лицо было спокойным и светлым.

— Тятя, — позвала Танча шёпотом, боясь спугнуть.

Отец не обернулся.

И тогда она увидела.

От его груди, от того места, где сердце, тянулась тонкая светящаяся нить. Она уходила вперёд, в глубину леса, и терялась среди деревьев.

Отец шел за ней, шел за светящимся клубком не оборачиваясь.

Танча не понимала, что происходит, но ей было невыносимо больно. Тук-тук, тук-тук...

Она стояла не двигаясь. Потом медленно подошла к тому, что осталось под берёзой. Тело отца сидело всё так же прямо, лицо было спокойным. Её рука дотронулась до его руки — холодная. Но на губах у него застыла улыбка, какой Танча никогда раньше не видела. Светлая, удивлённая, счастливая.

— Ты ушёл, — прошептала Танча. — За ниткой ушёл. А меня не взял.

Она постояла ещё немного. Потом повернулась и пошла домой, к матери. И всю дорогу слушала тишину в своей груди. Шаги больше не бились. Отец ушёл совсем.

Ночью ей приснился сон. Будто отец идёт по полю, высокий, светлый, а над ним — небо, зелёное и синее, как в ту ночь, когда её зачали. В руках у него — клубок, почти размотанный.

— Ты зачем ушёл? — спросила Танча во сне.

— Меня позвали, — ответил отец издалека. — Там, куда я иду, можно летать. Ты тоже прилетишь, когда время придёт.

— А нитка?

— Нитка — это дорога. У каждого своя. Ты свои нити вязать будешь, Танча. Помни это.

Она проснулась с мокрым от слез лицом. За окном светало. Берёза под окном тихонько шелестела — снова дышала, снова жила.

А в груди у Танчи, там, где ещё вчера бились шаги, теперь зияла пустота. Тихая, светлая, но пустота.

Так начался её путь.

Глава 2

С гуся вода.

После того дня Танча изменилась.

Мать говорила: «Притихла, как лесной зверёк. Смотрит, а будто сквозь». Танча и правда смотрела сквозь — на стены, на мать, на еду в миске. Внутри неё всё ещё жила та тишина, что наступила, когда затихли шаги. Она не плакала, не спрашивала про отца. Просто жила — тихо, ровно, как живёт трава, когда солнце ушло за тучи.

Мать горевала по-своему. Плакала по ночам, днём работала не разгибая спины, чтоб не думать. А Танчу грела бабушка — мамина мама, сухая, быстрая, с руками в вечных трещинах от воды и холодного ветра.

Бабушка жила на краю деревни, в маленькой избе, где пахло мятой, сушёными грибами и ещё чем-то горьковатым, что Танча не умела назвать. К ней Танча бегала, когда становилось совсем невмоготу, когда мальчишки во дворе дразнили «сиротой», когда девчонки шептались за спиной, когда внутри всё сжималось от одиночества так, что дышать было трудно.

— Идём, родимая, — говорила бабушка и вела Танчу к ручейку.

Она лила воду из ковша тонкой струйкой, тёплую, нагретую на печи, и приговаривала:

— С гуся вода, с лебедя вода, с Танчи вся беда, худоба. С ясных очей, с чёрных бровей, с ретивого сердца. Вода в землю, худоба вон.

Танча зажмуривалась. Вода стекала по лицу, и правда становилось легче. Как будто вместе с водой уходило что-то тяжёлое, липкое, что приставало за день.

За окном в это время всегда что-то случалось. Воробьи начинали купаться в пыли, нахотившись и взъерошив перья. Ветер нёс с лугов запах клевера и мяты. Иногда до самого дома долетал тяжёлый, влажный дух от реки — значит, где-то там, за лесом, собирался дождь. Танча слышала всё сразу: и как скрипит колодезный журавль у соседей, и как шуршат мыши в сене, и как где-то далеко-далеко, за полями, поезд гудит — тонко, жалобно, будто зовёт кого-то. Мир вокруг неё жил своей жизнью, и Танча чувствовала каждый его вздох.

А иногда бабушка делала странное: сыпала несколько крупинок Танче на макушку соли. Крупную, серую, пахнущую погребом. Танча ёжилась, соль кололась и иногда сыпалась за воротник.

— Не дёргайся, — строго говорила бабушка. — Соль зло впитывает. Как губка. Ты ж видела, как я мясо солю? Чтоб не портилось. Вот и ты чтоб не портилась от людского глаза.

— От какого глаза? — не понимала Танча.

— От дурного. Завистливого. Таким, как ты, соль нужна, как хлеб.

Танча не понимала, что это значит, но спорить не лезла. С бабушкой не спорили — бабушка знала.

А ещё бабушка учила «казать фиги».

— Видишь, — говорила она, складывая пальцы в кукиш. — Это тебе не просто кулак. Это оберег. Коли кто косо глянет, иль слово недоброе скажет — ты ему фигу в кармане сложи, и мысленно в его сторону скажи, — Вот тебе! Не вслух, а про себя. И сглаз отскочит.

Танча старательно училась складывать пальцы. Дома, в своей постели, она тренировалась перед сном — чтоб наутро помнить.

А за окном в это время ночь жила своей жизнью. Сверчки выводили бесконечную песню, и в ней Танча слышала успокоение. Луна то пряталась за облака, то выплывала снова, и тогда по полу разбегались серебряные дорожки. Где-то в лесу ухал филин — глухо, важно. Танча не боялась. Ей казалось, что филин охраняет её сон, отгоняет то, что может присниться страшного. Она засыпала под этот ритм: сверчки — филин, сверчки — филин, а между ними — тишина, в которой можно дышать.

По вечерам, когда Танча уже лежала на полатах, бабушка садилась рядом и брала её руки в свои.

— Дай-ка, — говорила она и начинала растирать каждый пальчик, от ногтя до самого основания. Танча сначала сопротивлялась, но потом привыкла. В бабушкиных руках было тепло и сухо, как в печи после того, как хлеб вынули.

— Это меня мать учила, — приговаривала бабушка, не спеша, словно сказку сказывала. — И свекровка моя. Так и передаются знания из поколения в поколение.

Она забиралась под одеяло и растирала внучке ступни — от пятки до каждого пальчика, нажимая в ямочки, от которых по телу шла дрожь.

— На руках и на ногах, — говорила бабушка, — всё тело умещается. Весь человек. Растирать их надо, чтоб ровной дорога была. Чтоб пальчики ровные, чтоб суставы не болели, чтоб кровь ходила, как река по весне.

Танча слушала и засыпала под бабушкины руки. И уже не слышала, что ей рассказывала бабушка. Ей снилось, что она вся — от макушки до пят — светится.

А за стенами избы, за окнами, в темноте, дышала земля. Она дышала ровно и глубоко, как большой зверь, и Танча чувствовала это дыхание кожей. От него шёл тот самый горьковатый запах, что она не умела назвать, — запах ночи, земли, корней, уходящих глубоко-глубоко, туда, где спят подземные воды. Иногда ей казалось, что она слышит, как растёт трава — чуть слышно, на грани тишины. Или как распускаются цветы — с лёгким хлопком, будто лопается мыльный пузырь. Она не знала, правда это или сон, но утром всегда находила подтверждение: там, где вчера был бутон, сегодня алел мак.

Иногда бабушка брала её с собой по хозяйству. Танча любила эти часы — когда не надо ни с кем говорить, когда можно просто делать.

— Сечка — раз, сечка — два, — командовала бабушка, и они вдвоём рубили крапиву в деревянном корыте. Крапива жглась, даже сквозь рукавицы, но Танча терпела. Куры потом

клевали эту крапиву с такой радостью, будто мёд, и яйца несли крупные, белые, с ее ладошку величиной.

— Отчего они крапиву любят? — спросила однажды Танча.

— А ты как думаешь? — прищурилась бабушка.

— Не знаю, — сказала Танча, но про себя подумала: знаю. Они всё понимают. Не глупее нас.

— В крапиве сила, Танча, — ответила бабушка. — Огонь внутри неё, хоть и жжёт. Куры её чувят. Силу всегда чувят. И ты чуешь, только молчишь пока.

Танча промолчала. Она уже знала: с курами можно не говорить, они и так слышат. Когда она проходила мимо, они поднимали головы и провожали её взглядом — не боялись, а будто ждали чего-то. Иногда Танча шептала им: «Неситесь, ладные», — и они неслись. Всегда.

В такие минуты двор наполнялся особенной тишиной. Куры замирали, прислушиваясь. Петух, важный, рыжий, косился на Танчу жёлтым глазом и не кричал — уважал. Даже ветер стихал, будто тоже хотел услышать, что она скажет. Танча чувствовала это — как всё вокруг затаивается, ждёт. И от этого ожидания у неё внутри разливалось тепло, густое и сладкое, как Серкино молоко.

Серка — старая бабушкина коза, серая, с обломанным рогом, но молоко давала густое, жирное, пахнущее лугами. Бабушка учила доить:

— Не дёргай, гладь. Коза, она как баба — ласку любит. Подоил, погладил, словечко сказал — она и молока прибавит.

Танча садилась на низкую скамеечку, прижималась лбом к тёплому Серкиному боку и доила. Молоко било в подойник упругой струйкой, пахло счастьем. Серка вздыхала, жевала жвачку и изредка оглядывалась на Танчу жёлтым глазом с прямоугольным зрачком.

— Она у меня умная, — говорила бабушка. — Всё понимает. Ты с ней говори, она слушат.

И Танча говорила. Шептала Серке в серый бок всё, что накопело: про мальчишек, что дразнятся, про девчонок, что не берут в игру, про маму, которая всё время молчит, про отца, который ушёл за ниткой.

Серка слушала. Жевала. Иногда поводила ухом — значит, поняла.

В хлеву пахло сеном, навозом и ещё чем-то древним, тёплым, уютным. Мыши шуршали в углах, но Танча их не боялась — мыши тоже часть мира, они тоже хотят есть и жить. Сквозь щели в досках пробивались лучи заходящего солнца, и в них плясала пыль. Танча любила эти минуты — когда она и Серка, и мыши, и пылинки, и тишина, и можно не быть никем, просто дышать и слушать, как жуёт коза.

Однажды бабушка отправила Танчу в магазин. Всего-то делов — сбегать за солью, туда и обратно. До магазина — полем, через ручей, пять минут ходу. Бабушка ждала её, ждала, самовар поставила, а Танчи нет. Через час забеспокоилась, вышла за ворота, глядь — а та у лужицы на дороге сидит на корточках.

А потом матери рассказывала, когда Танча уже спала на полатах, а они сидели при лучине.

— Выглянула в окно, значит, а она червяка из лужи выуживает. Ладонкой подцепит, на сухое место отнесёт, под листок положит. И так бережно, будто не червяк это, а хрусталь

какой. Я окликнула: «Танча, ты чего?». А она голову подняла, глаза серьёзные: «Бабушка, он же утонет. Дождь прошёл, а он не успел уползти». Ну, поди ж ты, думаю, сердце-то у дитя какое.

Мать вздохнула, промолчала.

— На обратном то пути, — продолжала бабушка, — гляжу, так она каждую божью коровку, что на дороге сидела, на цветок сажала, каждую букашку. «Ты чего, — спрашиваю, — их?» А она: «Так раздавят же, бабушка. Тут телеги ездят». И пальчиком поддевает, чтоб не поранить, и несёт к ромашкам. А коровки-то не улетают, сидят на пальчике смирно, будто знают — своя несёт.

Бабушка покачала головой.

Я уж не стала мешать. Стояла, глядела. И так мне, знаешь, тепло стало. Не от солнца — от неё. Будто свет от девочки идёт. А она и не знает. Просто идёт и всех спасает, кто под руку попадётся.

Мать молчала долго. Потом сказала тихо:

— Есть в кого. Тот тоже... всякую тварь жалел.

— То-то и оно, — ответила бабушка.

За окном догорал закат. Небо из золотого становилось розовым, потом лиловым, потом тёмно-синим. Где-то далеко за рекой кричал коростель — дёргал, дёргал свою сухую трещотку. В траве заливались сверчки, и в их стрекоте тонули все остальные звуки. Танча спала и не слышала этого разговора. Но даже во сне она чувствовала, как земля дышит, как звёзды загораются одна за другой, как мир вокруг живёт своей огромной, сложной, прекрасной жизнью.

И в этой жизни было место для неё.

Глава 3

Желанная.

Время шло, и Танча росла. К восьми годам она уже твёрдо знала: мир вокруг неё живой. Каждый листок, каждая травинка, каждая букашка — все они что-то чувствуют, и все они её слышат. Иногда она шептала им что-то своё, и ей казалось, что они отвечают — тихо, на грани слышимого.

В школе её по-прежнему считали странной. Мальчишки не трогали — был в ней что-то, что останавливало. Девочки сторонились. Только пухленькая Аришка иногда подсаживалась на перемене и спрашивала:

— Танча, а о чём ты думаешь?

— О разном, — отвечала Танча.

— А всё же?

— О том, как трава растёт. И как облака плывут, мы с дядькой Сандыром часто рассматриваем облака, на что они похожи. Это его дед Вова учил, а он меня.

Аришка вздыхала и уходила.

В тот день мать вернулась с базара не одна.

Танча сидела на крыльце, перебирала прутики, что-то мастерила. Подняла голову — и замерла. Рядом с матерью шёл мужчина. Высокий, кудрявый, с большими светлыми глазами, которые смотрели ласково и чуть виновато. В руках он нёс узелок, а сам поглядывал на мать так, что Танче сразу стало тепло.

— Танча, — сказала мать, останавливаясь. — Это дядя Гриша. Будет у нас жить.

Танча смотрела на него, на мать, снова на него. Мать улыбалась — впервые за долгое время. А дядя Гриша улыбнулся Танче, и от этой улыбки морщинки у глаз собрались лучиками.

— Здравствуй, Танча, — сказал он голосом низким и спокойным. — Я тебе гостинца привёз.

Он развязал узелок и достал оттуда пряник — большой, медовый, с нарисованной птицей.

Танча взяла пряник, посмотрела на мать. Та кивнула.

— Спасибо, — прошептала Танча и вдруг улыбнулась сама.

С этого дня в доме стало по-другому. Дядя Гриша оказался плотником — чинил крыльцо, поправлял забор, мастерил новую калитку. От него пахло смолой и лесом, и этот запах въедался в стены, перебивая застоявшуюся горечь. Мать чаще смеялась, чаще пела за работой. А по вечерам они сидели втроём за столом, и дядя Гриша рассказывал истории — про лес, про зверей, про то, как он однажды заблудился и ночевал в избушке лесника.

Танча слушала и чувствовала, как внутри разворачивается что-то тёплое. Похожее на то, что было при отце, но другое. Спокойное.

Однажды вечером, когда дядя Гриша ушёл во двор, мать под села к Танче и сказала тихо: — Танча, у тебя скоро будет братик или сестрёнка.

Танча замерла. Потом бросилась к матери, обхватила её за талию и заплакала. Мать гладила её по голове и молчала.

А Танча уже знала: это я. Я попросила.

Она вспомнила, как много раз, лёжа в постели, шептала в темноту: «Хочу сестрёнку. Хочу, чтоб мама была счастлива. Хочу, чтоб у нас была семья». И вот — сбылось.

Страх и радость смешались в груди. Страх — а вдруг это опять как с отцом? Вдруг она что-то сделает не так? А радость — потому что мама теперь улыбается, и в доме тепло, и скоро будет ещё один маленький человечек.

С тех пор Танча не отходила от матери. Носила воду, таскала дрова, просила позволения погладить мамин живот.

В один из дней Танча попросила:

— Мам, научи меня вязать.

Мать удивилась:

— Зачем тебе? Мала ещё.

— Не мала, — насупилась Танча. — Хочу. Для сестренки. Свяжу ей что-нибудь.

— Для кого? — не поняла мать.

— Для сестрёнки, — Танча смутилась.

Мать рассмеялась, достала из сундука старые спицы — деревянные, тёмные от времени, с одного конца острые, с другого — с колпачками из кожи.

— Гляди, — сказала она и села рядом. — Это лицевая, это изнаночная. Воздушные петли не тяни, они свободными должны быть.

Танча смотрела на мамины пальцы — как они ловко перебирают нить, как петля за петлёй ложится ровно, будто сама собой. Пряжа была серая, из овечьей шерсти, пахла овчиной и ещё чем-то домашним, тёплым.

— Дай я, — Танча взяла спицы. Пальцы не слушались, петли сползали, одна выскочила, за ней другая. — Ой, мам, распускается...

— Ничего, — мать поправила. — Первый раз всегда так. Ты не бойся, Танча. Вязание — оно как разговор. Нитка слушает, если с ней ласково.

Танча пробовала снова и снова. К вечеру у неё получился кривой, похожий на тряпочку лоскут. Она прижала его к щеке — кололся, но пахло от него мамой и домом.

— Пригодится, — сказала мать. — Научишься — всем носочки свяжешь.

А через неделю дядя Гриша сказал:

— Поедем к моей матери. Давно не виделись, соскучилась небось.

Собрались всей семьёй. Танча устроилась в телеге рядом с матерью, дядя Гриша правил лошадей. Ехали долго — через лес, через поле, через мост над речкой. Танча смотрела по сторонам и слушала, как колёса шуршат по траве.

Дом новой бабушки стоял на пригорке, окружённый старыми липами. Сам дом был небольшой, но светлый, с резными наличниками. На крыльце сидела женщина в тёмном платке и что-то делала руками. Танча присмотрелась — и замерла.

Из рук у бабушки текла нить. Тонкая, белая, она вилась и переплеталась, превращаясь в кружево — лёгкое, как иней, красивое, как узоры на окнах зимой. Бабушка держала маленький костяной крючок и двигала им быстро-быстро, а из-под него вырастал цветок, листок, ещё какой-то невиданный узор.

— Это что? — выдохнула Танча, забыв поздороваться.

Новая бабушка подняла глаза, улыбнулась:

— А это, милая, кружево. Крючком вяжу. Хочешь, покажу?

Танча кивнула, боясь слово вымолвить.

Бабушка отложила свою работу, взяла другой крючок — поменьше — и моток ниток.

— Садись рядом. Гляди.

Танча села, не сводя глаз с бабушкиных пальцев. Крючок оказался совсем не таким, как спицы. Его надо было держать не как спицу, а как ложку — иначе неудобно. Петли цеплялись одна за другую, и вдруг из ничего, из простой нитки начинал расти узор.

— Ты гляди, — говорила бабушка. — Это не просто вязание. Это судьбу плетёшь. Каждая петелька — денёк. Каждый ряд — год. Хочешь, чтоб жизнь ровной была — вяжи ровно. Хочешь, чтоб красивой — узоры придумывай.

Танча слушала, и слова ложились в неё глубоко, как семена в землю.

До вечера она просидела рядом с новой бабушкой, пробуя снова и снова. Крючок выскальзывал, петли путались, но бабушка терпеливо поправляла, показывала, шептала:

— Не спеши. Нитка любит, когда её не дёргают.

К вечеру у Танчи получилась маленькая цепочка — кривая, но своя.

— Молодец, — сказала бабушка. — Приезжай ещё, научу узоры вязать. Кружева — они силу большую имеют. Не каждому дано, а ты чуешь, я вижу.

Всю дорогу домой Танча молчала, перебирая в памяти бабушкины слова. Дома сразу подбежала к матери, показала цепочку.

— Гляди, мам! Я крючком научилась! Меня новая бабушка научила!

Мать улыбнулась, погладила по голове:

— Три бабушки у тебя теперь. Две мастерицы. Всё перенимай, всё впрок пойдёт.

Танча кивнула. И с тех пор вязала всё свободное время. Спицами — ровные полоски, крючком — узоры. Нитка текла сквозь пальцы, и Танча чувствовала в этом какую-то древнюю правду, которую не могла объяснить.

Она связала маленький платочек — спицами сделала основу, а край обвязала крючком простыми зубчиками. Получилось кривенько, но от всего сердца. Положила матери в сундук:

— Это сестренке. Пусть лежит.

А в конце весны, когда черёмуха уже отцвела, а сирень только набирала бутоны, мать ушла в баню с соседкой-повитухой, а вернулась с маленьким свёртком.

— Ну, гляди, — сказала мать, присаживаясь на лавку. — Это твоя сестра.

Танча подошла на цыпочках. В свёртке, в кружевных пелёнках, лежало крошечное существо с красным сморщенным личиком. Оно сопело и изредка чмокало губами.

— Какая маленькая, — выдохнула Танча.

— Подрастёт, — улыбнулась мама.

— А как зовут? — спросила Танча, хотя уже знала ответ.

— Не придумали ещё. С отцом хотим тебя спросить. Ты же старшая.

Танча смотрела на сестру, и имя само выплыло откуда-то изнутри:

— Нюрка. Пусть будет Нюрка.

Мать удивилась:

— Почему Нюрка?

— Не знаю, — пожала плечами Танча. — Она на Нюрку похожа. Маленькая такая... Нюрка.

Мать рассмеялась:

— Ну, Нюрка так Нюрка. Будет тебе Нюрка.

Ночью Танча долго не спала. Рядом, в люльке, посапывала Нюрка. За стеной тихо разговаривали мать и дядя Гриша. Танча вслушивалась в их голоса — низкий, спокойный материн и мягкий, с хрипотцой отчимов. В доме было тепло и уютно, пахло свежим хлебом и травами.

Танча смотрела в потолок и думала.

Желание сбылось. У неё есть сестра. У мамы есть муж. В доме тепло и не тихо.

Но внутри, там, где бились когда-то отцовы шаги, теперь что-то гудело. Тихо, но настойчиво. Будто предупреждало: это только начало.

Она вспомнила, как вязала тот маленький платочек. Как нитка ложилась петля за петлёй. Как новая бабушка говорила: «Судьбу плетёшь».

— Я не знаю, что это, — прошептала Танча в темноту. — Я ничего не знаю.

Нюрка во сне икнула и зачмокала.

За окном шелестела берёза. Месяц плыл над лесом, большой, круглый, молочный. Где-то далеко кричала ночная птица.

Танча закрыла глаза. И впервые за долгое время уснула спокойно.

Глава 4

Три реки и три сосны

У Танчи было две сестры. Мамина — Нюрка, и Сютка — дочка дядьки Сандыра, на полгода старше Нюрки. Девчонки росли почти как погодки, и Танче нравилось с ними возиться.

Летом они бегали под гору, туда, где сливались три реки. Одна — большая, серьёзная, с холодной водой и каменистым дном. А две другие — маленькие, быстрые, тёплые, как парное молоко, впадали в неё с двух сторон, будто к мамке под бочок. Берега там были из серого плитняка — плитняк слоистый, нагретый солнцем, местами обрывистый. С обрывов свисали корни трав, а наверху, по самому краю, росла земляника. Мелкая, но такая душистая, что, лёжа в воде, можно было учуять её сладкий дух.

— Нюрка, Сютка, смотрите! — кричала Танча, показывая на серые плиты. — Там раки живут! Если нос совать будете — за пятки уцепят!

— А они большие? — Нюрка таращила глаза, но из воды не вылезала.

— Во-от такие! — Танча разводила руки.

— Врёшь! — Сютка, бойкая, вся в отца, подплывала ближе к берегу и заглядывала под камни. — Нет там никого!

— А ты нос сунь — узнаешь.

Девчонки визжали и ныряли с головой. Вода в маленьких речках была тёплая, ласковая, и они могли плескаться часами. Вылезали уже синие, губы дрожат, а глаза горят.

— Баба сеяла горох и сказала деду: ох! — выкрикивала Нюрка и с хохотом приседала в воду, окунаясь с головой.

Сютка вторила ей, и вдвоём они устраивали такое бултыхание, что брызги долетали до Танчи, которая сидела на берегу с крючком в руках.

— Ой, перестаньте! — смеялась Танча, прикрываясь локтем. — Всё вязанье намочите!

— А ты иди к нам! — звали сестрёнки. — Вода — во!

— Погодите, край довяжу.

Она сидела на тёплом сером плитняке, смотрела на реки, на сестёр, и внутри разливалось тепло. Хорошо. Свой уголок, своя земля, рядом свои.

Девчонки росли быстро. Нюрка уже бегала бойко, Сютка и вовсе была непоседа, а Танча выросла вместе с ними. Хоть она и любила веселье, любила носиться с сестрами по берегу, играть в догонялки и собирать землянику на обрыве, но внутри себя никогда не ощущала ребёнком.

Слишком рано она увидела, как отец уходит. Слишком много знала и чувствовала того, чего другие не видели.

В один из летних дней, когда они с сёстрами возились на берегу, к ним подошла девочка. Пухленькая, с добрыми круглыми глазами и русыми косичками. Танча узнала её — это была Аришка, та самая из класса.

— Танча, пойдёшь с нами играть? — спросила Аришка несмело. — Мы в догонялки на лугу. Юська и Лана тоже будут.

Танча оглянулась на Нюрку и Сютку. Те уже заинтересованно выглядывали из-за её спины.

— А можно с сёстрами? — спросила Танча.

— Можно, — кивнула Аришка и улыбнулась. — Чем больше, тем веселей.

Так у Танчи появились подружки. Аришка — добрая, всегда готовая поделиться булкой. Юська — чернявая, быстрая, с острым языком и весёлыми глазами. Лана — тихая, задумчивая, похожая на саму Танчу.

А ещё были парни. Своя компания — Мишка, Лёнька, Санька и другие. Они тоже часто торчали на лугу или у реки — то рыбу ловили, то в лапту резались, то просто валялись на траве, пинали мяч. Танча их сторонилась поначалу, думала — засмеют, как в школе бывало. Но вышло иначе.

Мишка, старший из компании, подошёл как-то, когда Танча сидела с вязаньем на берегу, а Нюрка с Сюткой возились в песке.

— Танча, ты чего всё с бабами? Иди к нам, в мяч поиграем.

— Я не умею, — буркнула Танча.

— Научим, — усмехнулся Мишка. — Не дрова таскать.

И она пошла. Сначала мяч не ловился, ноги путались, девчонки с берега подшучивали. Но парни не смеялись. Лёнька показал, как бить, Санька — как ловить. А когда прибежал запыхавшийся Вовка из соседней деревни и начал дразниться: «Девку взяли, в подоле принесли!» — Мишка так на него глянул, что Вовка попятился.

— Танча своя, — коротко сказал Мишка. — Понял?

Вовка понял и больше не лез.

С тех пор Танча стала своей. С парнями было легко — они не требовали разговоров, не лезли в душу, просто принимали как есть. Можно было молчать, можно было играть, можно было сидеть с ними у костра, слушать их байки и вязать — вязать, вязать, чтоб руки были заняты.

— Танча, а свяжи мне шапку, — просил Лёнька.

— Принеси шерсть — свяжу.

— А мне? — встревал Санька.

— И тебе.

Они кивали и не приставали больше. Только иногда, когда какой-нибудь заезжий чужак пытался Танчу задеть, старшие парни вставали стеной. И чужаки отступали.

Танча не знала, чем заслужила такое. Может, тем, что не ныла, когда падала, не бегала жаловаться, когда было больно, не отводила взгляд, когда парни шутили грубо. Может, тем, что была своей.

Они носились по лугу, пока не падали в траву, запыхавшиеся и счастливые. А потом валялись, смотрели в небо и болтали.

— А у нас гусь пропал, — говорила Юська. — Мамка думает, лиса утащила.

— А у нас коза окотилась, двух козлят принесла, — вторила Аришка.

— А ты, Танча, чего молчишь?

Танча улыбалась и молчала. Ей было хорошо просто слушать их голоса, чувствовать, что она — своя, что её приняли.

Вдруг Юська вскочила:

— А давайте ещё в догонялки! Я вода!

И помчалась ловить. Носились по лугу, хохотали, падали в траву, снова вскакивали. Юська летела за Аришкой, не глядя под ноги, и вдруг споткнулась о кочку — кубарем покати́лась по траве, взвизгнув на лету.

— Ой! — заорала она, хватаясь за коленку.

Все подбежали. Из разбитой коленки сочилась кровь, смешанная с землёй, по ноге тянулась грязная полоса. Юська сидела на траве, закусив губу, и морщилась, чтоб не разревётся при всех.

— Больно? — спросила Лана, наклоняясь.

— Терпимо, — шмыгнула носом Юська, но глаза уже были на мокром месте.

Танча, не говоря ни слова, огляделась по сторонам. Подорожник рос тут же, у тропинки — широкие зелёные листья, прижатые к земле. Она сорвала самый крупный, смахнула пыль, размяла пальцами, чтоб пошёл сок, и присела рядом с Юской.

— Дай сюда, — сказала тихо.

Приложила лист к ранке, прижала ладонью и, склонившись к самому уху Юски, зашептала — так тихо, что другие не слышали:

— Подорожник-травушка, ты у дороги рос, боль-тоску в землю нёс. Кровушку уйми, ранку заживи, красноту сними. Как ты к земле льнёшь, так и боль к ней прильнёт, как сок твой течёт, так и здоровье придёт. Замок — в траве, ключ — в воде. Да будет так.

Юська замерла, прислушиваясь. Танча ещё подержала ладонь, потом убрала. Кровь уже не текла, только алела тонкая полоска вокруг листа.

— Чего ты шептала? — спросила Аришка с любопытством.

— Бабушка учила, — пожала плечами Танча. — Чтоб быстрее заживало.

— А подействует?

— Подействует, — уверенно сказала Танча. — К завтраму и следа не останется.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.